

Р. Б. ТАРКОВСКИЙ

Переводчик Эзопа Петр Кашинский

(Из истории древнерусского перевода)

Выполненный в 1675 г. «синбирским рохмистром» Петром Кашинским перевод прозаических басен был самым обширным из сборников подобного рода в России, превосходя составом как предшествующие переводы Ф. Гозвинского и А. Виниуса вместе взятые, так и последующие печатные собрания этого жанра вплоть до третьего десятилетия XIX в. Говоря точнее, перевод Кашинского — это «трои книги: Езоп Францкой, другой — Гаврила Грека, третей — Лаврентия Римлянина» (Q. XV.16, л. 75 об.), т. е. фригийца Эзопа, грека Бабрия и латинского автора конца XV в. итальянца Лоренцо Абстемия. Источник перевода — краковское издание примерно 1600 г. — «Przypowieści Aezopowe, z Łacińskiego na Polskie z pilnością przełożone. Przydane są k temu przypowieści z Gabryela Greka y Laurenthego Abstemiusa», из 339 фабул которого Кашинский выбрал и передал 260. Из них около 150 уже были знакомы на Руси по переводам Гозвинского и Виниуса, остальные переведены впервые.

Известны два списка этого перевода, хранящиеся в ГПБ, в С.-Петербурге: начала 1680-х гг. из собр. Ф. А. Толстого, Q.XV.16, — один, и первой трети XVIII в. из собр. Н. Я. Колобова, № 607, — другой. Обе рукописи дефектны, особенно хронологически и текстологически более ранняя — Q.XV.16, со множеством бессмысленных искажений и не поддающихся прочтению мест, не говоря уже о полуоборванных либо утраченных листах с текстами трех десятков басен. Лучшей сохранности второй сборник, но это уже иная, существенно отличная по языку и по осмыслению многих контекстов, поздняя редакция перевода.

1

Сопоставление списков, как и обращение к польскому оригиналу, далеко не всегда позволяет решить, что в тексте «Притчей» принадлежит самому Кашинскому и что — последующим переписчикам. Однако вполне очевиден общий, весьма свободный характер этого перевода и то, что выполнен он лицом, для которого польская речь была более привычна, чем русская.

Перевод обильно насыщен разного рода лексическими, словообразовательными и семантическими, равно как и грамматическими полонизмами, большей частью передающими подобные же единицы и структуры польского текста:

буда — 'шалаш', *воротной* — 'сторож у ворот', *встыд* — 'стыд', *выбавляючи* — 'освобождая', *выжел* — 'выжлец', *выживание* — 'пропитание', долг на себе *вызнала* — 'признала за собой долг', *выхваляючи* — 'расхваливая',

годно — 'справедливо', *голосно* — 'громко', *додавать* — 'придавать', *живность* — 'пропитание', *жорав* — 'журавль', *заложиться* — 'побиться об заклад', *заныряться* — 'погрузиться в воду', *застановить* — 'остановить', *збитый* — 'избитый', *зброя* — 'воинские доспехи', *збудовать* — 'построить', *злодей* — 'вор', *зостать* — 'остаться', *ковальский* — 'кузнечный', *коняючи* — 'умирая', *коропатва* — 'куропатка', *кракать* — 'каркать', *ляда хто* — 'кто угодно', *малженство* — 'супружество', *мотать* — 'обманывать', *моцны* — 'могучий', *мысливец* — 'охотник', *набытие* — 'приобретение', *набытый* — 'приобретенный', *налог* — 'дурная привычка', *наложиться* — 'привыкнуть', *намова* — 'уговоры', *невеста* — 'женщина', *нужный* — 'ничтожный', *жалкий*, *перший* — 'первый', *подорожный* — 'путник', *речи пожиточные* — 'полезные вещи', *покора* — 'покорность', *помститца* — 'отомстить', *порваться* — 'рвануться с места', *послуга* — 'услуга', *посполитый* — 'простонародный', *потѣха* — 'утешение', *потешать* — 'утешать', 'успокаивать', *похилый* — 'склонившийся', *праца* — 'труд', *примужение* — 'принуждение', *прирожение* — 'природное свойство', 'натура', *пришлыя речи* — 'грядущие дела', *пропущать* — 'прощать', *пташник* — 'птицелов', *работный* — 'рабочий', *рада* — 'совет', 'рекомендация', *распукнутца* — 'лопнуть', *рина* — 'водосточный желоб', *родичи* — 'родители', *цветы рожаныя* — 'цветы розы', *рушание* — 'движение', *коня свойскова* — 'коня прирученного, недикого', *сивизна* — 'седина', *сивыя волосы* — 'седые волосы', *скарб* — 'казна', *слимак* — 'моллюск', *смерзлый* — 'замерзший', *смовившись* — 'сговорившись', *смыслы* — 'ощущения', 'чувства', *река снищала* — 'обмелела', 'пересохла', *спѣвать* — 'петь', *стайня* — 'конюшня', *стоварищилися* — 'подружились', *стройно* — 'нарядно', *табличка* — 'дощечка для письма', *твердая зима* — 'суровая зима', *товарышка* — 'подруга', *уживать* — 'употреблять в пищу', *улечить* — 'излечить', *упомянуть* — 'увещевать', *долгу упоминался* — 'требовал возвратить долг', *упор* — 'упрямство', *себѣ хвост урвала* — 'оборвала свой хвост', *уряд* — 'должность', *ухилиючися* — 'уступая', *ховать* — 'прятать', 'держать', *хороба* — 'хворь', *хорый* — 'хворый', *цнота* — 'добродетель', *чапля* — 'цапля', *шкода* — 'вред', 'ущерб', *шкодить* — 'вредить' — и др.

Правда, вся эта лексика в той или иной части известна также белорусской либо украинской речи. Но в тексте перевода многочисленны и более специфичные польские элементы:

влететь на — 'взлететь на', *всадить в* — 'посадить в', *вспинаючися* — 'приподымаясь на цыпочках', *Евиш* — 'Зевс', *каплон* — 'каплун', *кшикаячи* — 'шипя', *назвычайтися* — 'привыкнуть', 'приохотиться', *нараять* — 'сосватать', *повторе* — 'вторично', *пересилилица* — 'перестараться', 'надорваться', *посилиться* — 'подкрепиться пищей', *по-третие* — 'в третий раз', *разскажут* — 'приказывают', *сводить люди* — 'совращать людей', *скотопас* — 'пастух', *скрыгать* — 'скрежетать', *спущение* — 'спуск', *ссесть с коня* — 'сойти с коня', *строи* — *stroje*, *указаться* — 'появиться', 'явиться', *укушение* — 'укус', *жена утратная* — 'расточительная жена', *хлѣбодавец* — 'благодетель', *пес ядовитый* — 'злой пес' — и др.

Отмечу морфемно-семантические кальки и польский фразеологический и пословичный материал:¹

вкинул (*w-gzusił* — 'бросил') *топоръ в воду* — 131; *наговариваль* (*pa-mawiał* — 'убеждал') *мних одново старца*, чтобы покинул грех телесны —

¹ Все примеры — по списку Q.XV.16; список из собр. Колобова, № 607, используется только при устранении лакун или невразумительных искажений. Индексы после цитат — номер басни и указание на «книгу»: басни Эзопа — без литеры, Гаврила Грека (Бабрия) — г, Лаврентия Римлянина (Абстемия) — р. В польских примерах — орфография источника.

58_p; *приговаривала* (przy-mawiała — ‘упрекала’) река своему ключу — 42_p; заецъ лисице *выговаривал* (wy-mawiał — ‘упрекал’): «Для чева ты меня, кумушка, выдала?» — 67_p; *выговариваючи* (wy-mawiając — ‘высказывая’) ему добродетель свою — 26_p; *примолвил* (przy-rzekł — ‘обещал’) то учинить — 124; *натоптал* (na-deptał — ‘наступил на’) ящерицу ногою — 103; «О, бѣзумны, куды идешь? Уже оттуды *не своротишся* (nie z-wrociś się — ‘не вернешься’), — убьют тебя» — 36_p; бранил, что ему слова *не додержала* (nie do-trzymała — ‘не сдержала’) — 97; добродетель первого мужа всегда ему на очи *выкидала* (wy-gzusała — ‘упрекала’) — 38_p; ему з грозами *зашол дорогу* — ‘стал поперек пути’ — 65; *забѣжал* ему *дорогу* — ‘вышел навстречу’ — 69; *молвит, что слина до губы принесет* — ‘говорит вздор’ — 20; *всяк своею пядью мерѣя* — 48; *ушол от дождя под рину* — 61; *по шкоде человекъ бываетъ мудры* — 105; *долго волкъ носитъ, покамѣстъ послѣ и самово понесут* — 43_p, и др.

Многочисленны и разнообразны грамматические полонизмы — прежде всего флексия «-у» в формах предложного падежа единственного числа большинства существительных мужского рода, типа: о Евишю, о жораву, о мысливцу, о пташнику, о слимаку (и не менее сотни подобных), а также среднего рода: на сердцу — 23, в полю — 47, в поиманью — 63, о солнцу — 68, в плесанию не имел ровни — 100, на здоровью своемъ — 107, при морю — 112, рыболовъ непутны в ловению рыб — 120, в счастью своемъ — 127, на лицу — 25_r, о товариству — 16_p, о узнанию приятелей — 66_p, о прошении лисицы — 68_p.

Польскому оригиналу следует нередко и падежное употребление, к примеру:

Лев, король зверины, хотячи воевать с птицами, собрал всех зверей и спрашивал медведя, что бы ему (т. е. ‘у него’) по зайцу боязливом либо по осле ленивом было? — 73_p, и под.

Того же источника многие из оборотов с предлогами *до, за, над, с: до воли* наелся — 49, *отвещал до* нево — 65, *мовил до* него — 74, *посланъ до* них посол — 80, *всадил* ея *до* куров — 98, *вскочил до* ловца — 37_p, *пришли до* бога — 68_p; *за живота* ево (‘при жизни его’) — 41, ея *за жену* отдалъ (‘отдал ее в жены’) — 124, *за мертвого* лежал (‘как мертвый’) — 63_p; *белиши над* снег — 7, *хуже над* лукавство — 23, *над орломъ* не могла помститься — 114; *вышла з* буды — 116, *один с* них *вырѣвал* мясо *с* коша — 36, *с* него сѣти *делают* — 11, и десятки подобных.

Знак польской речи — мужской род существительных *боль, рысь и цель:* для великого *болю* — 108, *о рысю* — 95, *побегла до целю* — 136.

Вполне обычны в списке прилагательные без каких-либо графических признаков конечного йота: один был *глиняны*, а други *мѣдяны* — 74, один *лакомы*, а други *завидливы* — 80, *трети.., четверты.., пяты* — 21, *желѣзны* гвоздь — 113, *топоръ золоты* — 131, *лесны* волкъ — 12_r, *лукавы и сварливы* человекъ — 17_r, человекъ *угрюмы* — 19_r, о, *моцны* боже! — 33_r, и мн. под.

Из польского текста довольно регулярно переносятся формы прошедшего времени: *оженился былъ* один старый человекъ — 142, когда была одна пчела медведя укусила — 28_p, *выросло было* немало дерево на одном мѣсте — 10_p, *приготовились были* крысы подрубить дуп — 25_p, и мн. под., а также дебетивные и безлично-страдательные конструкции: *утѣкать мушу* (‘удирать должна’) — 43_r, *имѣ скоро умереть* — 49_p, тот звѣрь *имѣет быти* добр — 51_p, *имяла зима лютая быти* — 56_p, з голоду *имѣл пропасть* — 72_p, другому *въдвое имѣло быть* дано — 80, *написано льва*, склоняющего свою главу — 82, на то ему так *отказано* — 3_r, там ево *етмана побито* — 40_p, и др.

Разумеется, все это нетрудно бы отнести к беспомощному копированию источника, если бы полонизмы русского перевода зачастую не оказывались там, где именно этих слов или конструкций нет в соответствующих контекстах польского оригинала (не поминаю уже о весьма свободной передаче этого оригинала Кашинским). Тут и полонизмы, известные белорусской либо украинской речи, типа: *глупство* — 2_р, *застановил* — ‘остановил’ — 25, *латво* — ‘легко’ — 45, *нахиляешься* — ‘склоняешься’ — 77, *примовляет* — ‘укоряет’ — 41_р, *роскошь* — ‘наслаждение’ — 35, 101, 33_р, *спровавши* — ‘продав’ — 7_л, *суремка* — ‘свирель’ — 120, *ужалилась* — ‘сжалилась’ — 54_р, *уживаю* — ‘пользуюсь’ — 20, *упрацовавшись* — ‘утомившись’ — 68, *штуки* — ‘куски’ — 10_р, и собственно польские лексемы: *Евиш* — ‘Юпитер’ — 139, 24_г, 26_г, *мястик* — ‘наместник’ — 69_р, *набываем* — ‘обретаем’ — 121, шапки добръ не натиснул — ‘шапки не нахлобучил’, — 73, *похлѣбуючи* — ‘подольщаясь’ — 64, *с прирочения* — ‘по природе’ — 72, 40_р, 63_р, и др.

Не объяснить обилия полонизмов в тексте Кашинского и недостаточным знанием переводчиком русской речи (что в общем справедливо), поскольку проникновение польских слов в текст Кашинского не столь однотипно и не однолинейно. Многие полонизмы, что перенесены из польского оригинала в одних контекстах, были эквивалентно переведены в других либо переданы ситуативными русскими аналогами в третьих, а то и вовсе опущены, но так или иначе компенсированы контекстом в четвертых. И все это в условиях письменной речи, структуры которой (в частности, того повествовательного уровня, которому принадлежит перевод Кашинского) не определяются спонтанной импульсивностью устной стихии. Вместе с тем словоупотребление Кашинского обнаруживает весьма индивидуальные семантические пересечения и разграничения польско-русских словарных эквивалентов. К примеру, хотя бы корреляция пары *совѣт* — *rada*.

Из многих и многих употреблений в оригинале польского *rada* только однажды это *совѣт* — ‘совещание’, как и перевел Кашинский:

Прилетали на совѣт птицы (*wešli w radę ptacy*), чтоб болши королѣи межу собою выбрали — 44_р.

Второе подобное же употребление русского *совѣт* оказалось там, где оно не диктуется польским текстом, а лишь допускается ситуацией:

Сошлись были зайцы на совет (*zešli się byli zaiące w drogę*) и кручинились на нужу и скудость свою — 132.

В тех же случаях, где *rada* означает ‘рекомендация, предлагаемая усмотрению адресата’ (обычно в оборотах *dać radę* либо *słuchać rady*) в русский текст, когда это действительно ‘совет’ — лояльный, благожелательный, — так и переносится: *дать раду*, *послушать рады*:

Другая баба, похлѣбуючи, такую ей раду дала (*tak iej radę dała*): осла бѣлова, которова вдова в дому своем ховала, велѣла ей краскою зеленою украсить и велѣла по всемъ улицамъ водить — 64_р (аналогично 24_р, 67_р).

Если же реальные намерения персонажей противоречат мелиоративному ореолу слова, Кашинский воздерживается и от эквивалентного перевода, и от транслитерации, подыскивая иные контекстуальные решения. Например, в басне «О орлѣ и воронѣ», в которой ворона советует орлу, как расколоть раковину моллюска, втайне рассчитывая самой завладеть добычей, Кашинский дважды отказывается от прямой передачи оборота *dać*

radę — сначала в рассказе басни: «Ворона на учила ево (dala mu radę)» — и затем в сентенции:

Не всякому вѣрь, аще в чемъ тебя хто на учитъ (kto radę dawa).
Держи свой разумъ, много бо есть тых, которые не для твоей, токмо
для своей корысти научають — 6 (то же 34).

Зато русскими *совѣт* и *совѣтный* Кашинский передает польские *zgoda* — ‘согласие’ и *zgodny* — ‘единодушный, дружный’:

Хотячи один отецъ несовѣтные сыны к совету привести (synu
niezgodne, których kilku miał, ku zgodzie przywieść)... Для чего так
имъ говорил, что «и вам лучши будет, аще вмѣсте с собою станете
жить советно (będziecieeli zgodni)» — 40 (то же 79).

По-видимому, это диалектное, усвоенное симбирским ротмистром северо-восточное разумение *совѣт* как ‘со-гласие’ и явилось семантической доминантой, исключавшей *совѣт* из эквивалентов передачи исходного значения *gada*, — тем более там, где рекомендации одного персонажа наталкиваются на неразумное упрямство другого:

А она ея не послушала (nie chciała iey rady słuchać) — 19;
Много тых людѣй есть, которы сами ничево не знаючи, а иных не
слушають (cudzey rady nie chcą słuchać) — 11, и под.

Отмечу также, что ни разу не получил прямого словарного перевода и глагол *radzić* — ‘советовать’, передаваемый Кашинским по обстоятельствам то абстрактными *молвить* (19, 62, 119, 44_p) и *говорить* (11, 115), то изобразительным *шептать* (37_p), то модальными *желать* (62), *хотеть* (115), *научать* (6).

Сказывалось на словоупотреблении Кашинского и близкое родство языков, когда та или иная лексема языка перевода (в данном случае — русского) используется в неактуальных для нее значениях этимологически тождественной единицы языка-источника (здесь — польского). К примеру, одно из высокочастотных слов оригинала *rzecz* (45 употреблений), ни разу — ни в предметных (конкретных или обобщенных), ни в местоименных значениях — не переведенное у Кашинского эквивалентным *вещь*, но так и транслитерируемое, как в польском, — *рѣчь*:

После стал красти болши из речей (*rzeczy* — ‘вещи’), был пойман,
и вели его на виселицу — 111 (также 22_p, 30_p, 35_p, и с более общим
значением — 54, 60, 64, 48_p, 64_p, 71_p).

Тот же перевод местоименного, предикативно-присвязочного употребления:

Невѣста — *рѣчь* (*rzecz* — ‘вещь’) отмынная и ложная, а так ни в чемъ
не треба ей вѣрити — 66 (то же 21, 29, 75, 28_r, 11_p).

И в четырех случаях *rzecz* — ‘вещь’ передается ситуативно-контекстуальными аналогами — *дары*, *добро*, *тварь*, *звери* и *птицы*:

Многия люди великия сулят дары языкомъ (*wielkie rzeczy obieciał*) — 16_r;

...сами своему добру пособить ничево не умѣют (*w swej rzeczy są niedbałemi*) — 106;

Из начала свѣта, когда богъ всякой живой твари (*każdey żywey rzeczy*) роздовал дары, о чемъ хто ево молил — 55_p (то же 64).

Что касается процессуальных значений *rzecz*, то шесть раз они переданы лексемой *дѣло* и еще однажды — ситуативным аналогом *бѣда*:

Всякому человеку мудру достоит прежде вѣдать конец тому дѣлу (obaczysz, jakie ona rzecz wezmie dokończenie), которые зачинает дѣлати — 97 (также 98, 120, 136, 1_г, 22_р);

Крестьянин к суду позванъ, пришел к одному мастику (*rzeczniku*), чтобы за ево радѣниемъ вышелъ ис тое бѣды (*wyszedł z oney rzeczy*) — 69_р.

Но чаще и тут сохраняется, как в польском, — *рѣчь*:

Безумная рѣчь есть (*szalona rzecz jest*) научать другова, чево самъ не разумѣешь — 70 (аналогично 79, 106, 138, 10_г, 36_р, 41_р, 46_р).

Русское и польское начала сталкиваются и конкурируют в рамках одного предложения:

Научает тая притча, что добрым советомъ малыя речи (*rzecz, choć małe*) укрепляютьца, а несоветом и несогласиемъ и великия дела к злему концу приходить — 40.

Однако ведущим членом этой коррелятивной пары остается все-таки полонизм, и когда, например, в польском оригинале столкнулись в едином контексте *rzecz* и *sprawa*, то оба — и тот и другой — были переведены как *речь*:

Безумная рѣчь есть в малых и потешных рѣчахъ (*szalona rzecz w lekich sprawach*) бога на помощь призывати — 140.

Трудно судить, сколь вразумительным было подобное решение для читателей, но для словоупотребления самого Кашинского оно достаточно характерно.

Значение *rzecz* — ‘слово’ в польском оригинале, в пределах переведенного текста, отсутствует. Правда, употребление лексемы *rzecz* здесь семантически подчас столь размыто, что передача ее Кашинским как *рѣчь* не исключает естественного для русских понимания как ‘слово’ (61_р). И лишь единственный раз это значение несомненно, но уже как перевод польского *przypowka* в басне «О господинѣ с slugою»:

А когда ему стал часто насмехался, а хотя ему то слуга отшутить, по врѣмени однава за одну рѣчь (*za przypowką*) разгнѣвался на господина и так молвить.. — 21_р.

Совмещение польского и русского начала в языковом сознании переводчика очевидно, что, однако, не мешало Кашинскому взвешенно оценивать достаточно тонкие нюансы фабульных ситуаций. К примеру, передача польского прилагательного *przyszły* (‘будущий’) в двух баснях о прорицателях. В первой из них — «О ворожеи пророкоющимъ» — предсказание будущего не составляет реального содержания конфликта: речь, в сущности, идет о хронологически совпавших обстоятельствах, даже об одном эпизоде. И хотя смысловые спектры слов *пророкоющий* и *ворожея* также отсвечивают значением *przyszły*, это значение в контексте данного сюжета не актуализовано, — и оба упоминания *przyszły* переводом Кашинского сняты:

Ворожея один, сидячи на бозарѣ, о многих речах людям вещевал (*przyszłe rzeczy ludziom opowiadał*). Пришел к нему один человекъ, сказавши, что тати, двери выломавши, двор ево выкрали. Он, то слышачи, порвался и побѣжал до дому с вопом. Там же один,

встретивши его, молвил ему: «А то ты худо дѣлаешь — иным вещуешь (opowiedesz inszym rzeczom przyszłe), а самъ своея притчи не гадаешь» — 106.

Иная ситуация в басне «О ворожеи», прорицательнице грядущего, — с цепочкой последовательно детерминированных, но непредугаданных событий, сопоставлением экспозиции и развязки которых и образуется завершающий пуант рассказа, — так что передача *przyszły* тут была непременно (хотя исполнена опять-таки соответственно речевому опыту и навыкам переводчика, не говоря пока о других трансформациях перевода):

Ворожея сказывала о собѣ, что много будучи хъ речей видела (iako wiele rzeczy przyszłych wiedziała). После была оговорена, что сводила люди. И велено ея взять, аки вѣдунью, на смерть. Молвила к ней одна нѣвеста: «Милая тетка! Дивно мнѣ то, что ты пришли я речи ведала, а своей бѣды не узнала (rzeczy przyszłe przepowiadając od boga, nie przepowiedałaś, co się tobie od ludzi miało stać)» — 16_r.

Впечатление нерегулярного, смешанного польско-русского двуязычия, при исходной польской основе, особенно велико там, где Кашинский занят как бы своеобразной правкой своего источника — то ли переводом, то ли замещающим пояснением польских слов их же польскими синонимами:

Либо богатство имѣет в себѣ много роскоши, токмо хто хоцетъ разсудити, увидитъ, что великия кручины и тяжары (ciężkości) терпить — 5;

И увидивши то, один человекъ вынемъ тот клад. А так тот лакомы, узнавши то, зело засмутился (zatroskał się) и плакал — 7_r;

Хто своему хлѣбодавцу (dobrodzieliowi) обиду делаетъ, всегда тот от бога на собѣ помѣсну (pomstę) поносит — 9_r;

Когда нѣвеста, еще молода, мужа хворова плакала, потешался отецъ: «Не кручинься, милоя невеста, — н а р а ю (ziednam) я тебѣ молодшова, скоро тот умрѣт» — 12_p.

Аналогично: *srom* > *встыд*, *sromięzliwość* > *всмуд* — 25_r; *wypukł się* > *высилился* — 24, *za iedno* > *заровно* — 7_r, *pożywszy nieprzyjaćieła* > *звытяжживши* неприятеля — 35, *snadno* > *латво* — 40, *zwykli* > *назъвычайлися* — 24_p, *stresknił* > *нарекал* — 133, *ślubując mu* > *общуючи* ему — 71_p, *z pastwy* > *с паши* — 35, *na pasterniku* > *на паши* — 28_r, *cudze włosy* > *приправныя* волосы — 73, *mieniać się* > *удаючи* себѣ — 70, *zmiłowała się* > *ужалилась* — 54_p, *gzesnił* > *мястик* — 69_p, и др.

Но часто здесь приходится говорить уже не о переводе, а ином толковании ситуации, как, например, в сентенции басни «О воронѣ с ластовицею», где азбучные прописи оригинала сменяются формулировкой иного, причем социально окрашенного, собственного утверждения переводчика:

Ciało trwałe, acz grube,
lepsze iest,
niż subtelne a mdłe.

Тело крепкое и *працовитое*
лутшее и здоровое есть,
нежели чистое и *щеголеватое* — 15_r.

2

Что бы ни представлял собой перевод Кашинского, все аспекты его анализа и оценки возвращают к сопоставлению с его источником — кра-

ковским изданием Эзопа на рубеже XVI—XVII вв., времени, завершавшего в истории Польши эпоху «просвещенного, блестящего государства, поразительно терпимого в делах религии и политических убеждений».² Понятно, что умоностроения польского Ренессанса не миновали и польской версии Эзопа, так что перевод такого Эзопа (и без того враждебно воспринимаемого московской церковью) в предпетровской Руси был отнюдь не простым делом. В силу идейно-политических, философско-религиозных различий — и даже несовместимости — польских и русских государственных и теологических доктрин и национально-бытовых представлений подобное предприятие требовало немалых, чуть ли не сквозных содержательных перемен, если Кашинский вообще рассчитывал на беспрепятственное обращение своего перевода. Да и положение поступившего в русскую службу и принявшего православие иноземца понуждало симбирского ротмистра к сугубой осторожности в политических и религиозных вопросах, дабы не помянуть не в чин и ряд ни земного деспота, ни небесного. Относительно свободнее переводчик был лишь в кругу социально-этических проблем, еще не застолбленных официозными постулатами и ритуальной фразеологией, угнездившимися в России впоследствии.

Естественно, что в подобных обстоятельствах Кашинский не мог задаваться целями и требованиями профессионального перевода, даже если бы и представлял их. Он предусмотрительно отвергает одно, избирательно и зачастую по-иному передает другое, с иными акцентами, в иной — и нередко более острой — интерпретации. В этих многоаспектных, не всегда последовательных преобразованиях довольно определенно обрисовываются как повествовательные вкусы и предпочтения Кашинского, так и его социальные позиции и нравственные воззрения. Но в не меньшей степени проступает и вынужденное приспособление переводчика к российской действительности тишайшего Алексея Михайловича, железом, виселицами и крестным распятием умиротворявшего многоязычную державу от севера и до юга. Так что волею или неволею, но в переводе опущена едва не четверть басен польского оригинала и перекроены десятки других, фабулы либо истолкования которых предосуджающе ассоциировались с внутренней и внешней политикой московского государства — непрерывными войнами на западных рубежах от Прибалтики до Причерноморья, свирепой расправой с народными восстаниями от Белого моря до Каспия и крутым преследованием инакомысля по всей метрополии.

Опускаются сюжеты, затрагивающие проблемы монархического правления, — от осуждений жестокости августейших властителей и предостережений об отмищении попираемых и до ограничения прав монарха его обязанностями перед подданными. Опускаются небезболезненные для московского государя ироничные рассказы о безуспешных притязаниях на зарубежные престолы и морское владычество.

Опускаются басни антиклерикального характера, высмеивающие развращенность и алчность духовенства, а также басни с античными мифологическими мотивами, если их не удавалось приурочить к православному миропониманию, равно как и рассказы с аргументами или уподоблениями скабрезно-эротического, неблагочинного толка.

Однако не все изъятия порождены только предосторожностями переводчика. Напротив, ряд басен отвергнут как раз потому, что не отвечал социально-этическим представлениям Кашинского, так что русский перевод и по отбору сюжетов и по характеру их истолкования обретал приметно большую идеологическую целостность, нежели его польский источник.

² Погодин А. Л. Лекции по истории польской литературы. Харьков, 1913. Ч. 1. С. 207.

Демократизм социальных и нравственных позиций переводчика очевиден. Многократно и в многообразных связях повторяются осуждения социального угнетения и правовой несправедливости как следствия имущественного неравенства в мире, отравленном всеобщей алчностью и стяжательством, завистью и сословной спесью, чванством и лакейской угодливостью, равно как и корыстной лживостью, несоответствием слова и дела и поголовной готовностью к лжесвидетельству и обману. Человеческая природа неизменна: носители зла — деятельны, агрессивны и неискоренимы, а бытие — превратно. Отсюда мотивы неуверенности в будущем, настроения социального консерватизма и практицизма: подозрительность и недоверие к новшествам, настойчивые побуждения к предусмотрительности и призывы к смиренной умеренности, терпению, довольству малым и тем, что есть, наставления держаться своего сословного круга, не искать покровительства и не полагаться на поддержку сильнейших и, тем более, остерегаться конфликтов с ними, а также быть осмотрительными в друзьях и не принимать личины за сущность.

Соответственно представляется и шкала социальных и нравственных ценностей, в основе которых — доброе учение, честное ремесло, усердный труд, а также верность долгу, умение постоять за себя, справедливость и сострадание к слабейшим. Высшее из благ — независимость человека, независимость как от произвола сильных мира сего, так и от власти всеобщих пороков и соблазнов, и прежде всего — соблазна стяжательства и тщеславия.

Но это — сфера иного анализа, тогда как предмет статьи — только профессиональные аспекты решений Кашинского.

Из повествовательных особенностей перевода для начала следует отметить, что Кашинского, как оно ни парадоксально, едва ли вообще привлекала занимательность басенного сюжета. Он очевидно тяготеет к пространному повествованию, стремясь уложить фабулу в несколько — всего в шесть-семь — десятков знаменательных слов, и в ряду более протяженных рассказов доля исключенных из перевода басен в полтора раза больше, нежели в кругу текстов малого объема. К тому же многие из переведенных басен также сокращены переводчиком.

Другая примечательная черта перевода — то, что Кашинский всегда и неизменно держится приземленной действительности, ее реальных зависимостей и отношений. Выразителен уже сам отбор переводимых текстов, в известной мере представляющий как бы общим ключом и к частным решениям переводчика. Из перевода устраняется все нестаточное, ухищренное, не соответствующее ни повседневному опыту, ни здравому смыслу, будь то хотя бы и самые знаменитые сюжеты. Снимаются фабулы вроде басни про пса с мясом в пасти, бросившегося на свое отражение в воде, дабы заполучить и второй кусок; о недругах на тонущем корабле, из которых одного вполне утешает сознание, что другой захлебнется несколькими минутами прежде; о хозяине, который, из лени навеваться в сад, пересадил отягченную плодами яблоню под свои окна; о сотрясаемых подземной стихией горах и сбежавшихся к ним поселянам, у которых только и опасений — не проглотить, что же с горами станется, — и другие подобные потешки. Конфликты и поведение басенных персонажей, при всей условности жанровых масок и ситуаций, остаются у Кашинского в границах если не природного, то хотя бы житейски психологического правдоподобия, но отнюдь не судорожного гротеска.

Отвергаются также басни, весь эффект которых в находчивой игре слов, неожиданном пунте, никак, разумеется, не разрешающих реальной жизненной коллизии, — наподобие басни о мужике, утаившем от пана сердце забитого кабана, уверяя, что у столь глупого животного его и быть не

могло, или типа басни о лекаре, обкрадывающем подслеповатую пациентку, которая, по излечении, в свой черед нехитрым софизмом отказывает эскулапу в гонораре. Шутовской юмор не привлекает симбирского ротмистра. И напротив, сохраняются рассказы, где ловкие отговорки и паясничанье однозначно и резко осуждаются («О двух отроках»), а то и боком выходят его затейникам («О шуту с ослом»).

Не передаются надуманные этиологические сюжеты — типа басни о неопыре, чайке и репейнике, о сове с птицами, о пауке и подагре, о ослах и Юпитере и подобные.

За рамками перевода оставлен и ряд басен с «пустыми» конфликтами и произвольно притянутыми наставлениями — типа притчи о воске, бросившемся в огонь, дабы обрести твердость керамики, — некорректной уже по сюжетному импульсу (хотя бы на фоне вытапливания воска из вошины и употребления на свечи), с невестой почему выводимым и как приложимым поучением: «любое супружество не будет прочным, если нет равенства супругов». Не больше оснований для назидательных аналогий в басне про пса, преспокойно спящего под грохот кузнечного молота, но тотчас же пробуждающегося при звуке жующих челюстей, с сентенцией: «на тех басня, которые, на чужую работу надеясь, сами не хотят ничего делать», — и под.

Это внимание Кашинского к внутренней логичности всех звеньев целого подтверждается примером, когда переводчик столкнулся с дефектом текста самого польского оригинала в притче о галке, выбелившей свои перья, чтобы проникнуть в голубятню и воспользоваться тамошним кормом, но в забывчивости выдавшей себя криком, а затем не признанной и собственными сородичами. Однако в польском тексте не оказалось ни слова, как-либо отмечающего переокраску галочьего оперения, — внутренние связи фабулы распались, и басня Кашинским переведена не была.

Нетерпимость к нестаточному предстает причиной многих сокращений и в тексте переведенных басен. Тут отвергаются любые порождения художественной фантазии, стоит лишь аллегории выйти за рамки психологически здоровой вероятности, — сколь бы ни была велика в том фабульная и сюжетная необходимость, не говоря уже о эстетической значимости и выразительности изгоняемых мотивов. Гротескный гиперболизм, эстетизация абсурда претят Кашинскому. Не единственный пример тому — басня «О лакомом и завидливомъ», где завистник готов лишиться одного глаза, лишь бы алчный ослеп на оба. Приведу перевод Кашинского, включив в него и отброшенный текст польского оригинала:

Двое людѣй молилися богу: один лакомы, а други завидливы.
И послан до них посол, чтоб ихъ воли по их молению учинил и дал имъ выбирать, чево бы хотели, — а тымъ способомъ: чево б одинъ просил, то другому вдвое имѣло быть дано. Там же когда лакомы хотячи имети много, — а таво всего завидливы одержалъ вдвойа болши.
Potym zawisny żądał, aby sam stradał iednego oka, iżby łakomemu obiedwie były odjęte, temuby on był bardzo rad.
Толкъ. Лакомства не можетъ никто насытитца. Токмо и на зависть нетъ ничего хужьшова: завидливы человекъ, чтобы толко другому убытокъ зделал, о томъ всегда печалуетца, — наконецъ и самъ своево убытку для ради злова дѣла не жѣлеетъ — 80.

Предполагать, что здесь лакуна переписки, не позволяет не только совпадение русского текста списков Толстого и Колобова, но и судьба других, аналогичных по несообразности примеров. Так, выправляются нестаточные, хотя и традиционные ситуация и развязка басни «О волкѣ и о жаравлѣ»:

..Жаровъ ему спроста увѣривши, выбирал у него кости из горла, хотячи заплаты за свою работу. Zbłaznił go wilk, mówiąc: «A za jeszcze mało na tym masz, iześ zdrow, gdyzem ia tobie mogł abo szyję ugryść, abo cię z nogami w zadek wsadzić».

При всей жанровой условности фабулы Кашинский принимает ее только с интерполируемой в перевод поправкой на недалекость одного персонажа («спроста увѣривши») и полным преобразованием поведения другого, заменив снисходительность хищника куда более подобающим его амплуа, да и более поучительным, финалом:

А после волкъ и самово ево съѣлъ — 2.

Что касается частных и текстуально менее пространных несообразностей, то они исправляются по ходу рассказа. Например, в басне «О овцѣ со псом»:

Призвав пес овцу, аки бы ему виновата была печиво хлѣба. Ана в том запырлась. Послѣ призывал к себѣ третих: волка и лисицу, — и так овцу обвинили, которою пес порвавши вмѣсте с третими съел — 38.

Но в польском тексте лжесвидетельствуют и пиршествуют не лисица и волк, а конь и сип.

В басне «О псу с волком».

..«Когда я господина своего бѣрегу (в оригинале: gaduję), он меня за то лащить и с своесо стола кормить, и на голой земли не лягу» — 43, —

тогда как в польском: na dworze nigdy nie legam.

В басне «О свинье с выжломъ»:

..Пес отвещалъ: «Не знаеш ты, глупая свиня, что я за тое наkozание и учиние много добра нажил, понеже тое жь естъвы, что и господинъ мой отживаетъ» — 31_p.

Однако в тексте оригинала яства изысканны не то что для песьего, но и для хозяйского стола: «bowiem za to słodkiego mięsa przepiorczego y kuropatwego używam». Впрочем, что здесь несуразно на взгляд самого Кашинского, а что продиктовано приноровлением к русской аудитории, — размежевать трудно.

Не тешит Кашинский читателя и заботами об особой занимательности повествования. Басенный рассказ сжимается до семантического ядра, лишь бы его достало для нравственного заключения. Например, в басне «О ремесниках»:

Повелел богъ Евиш Меркурию, послу своему, чтобы во всякое ремесло розные вымыслы (в ориг.: przysady a matactwa) дѣлал. On posłuszny zmieszawszy te dwie rzeczy, stął ie czyścić y stłukł w móżdzierzu, aby ich nie obaczono, przysypał pod mierzę w każde rzemiosło. A gdy wszystkim rozdzielił, na ostatku też przyszedł szwiec, ktoremu Merkuryus wszystkie ostatek (a było tego nie mało) w rzemiosło wsypał. A так Меркури-посол дал сапожнику всяки вымыслы, чтобы он ремесломъ своимъ живилъся. Od tych czas wszyscy rzemieśnicy przysadę, kładą y matają, swłaszcza szwecu, которой не токмо зубами своими кожи вытягиваетъ, но и смолою наклеиваетъ.

Толкъ: мало такихъ есть мастеровъ, которой бы правдою работалъ, чтобы не мотал, понеже бо не укравши не могутъ пробыть — 24_r.

Прозаическая басня бесхитростна и немногоречива. Повествовательные ретардации ей не присущи. И если ее рассказ содержит какие-то повторения, то всегда как сопоставляемое с завязкой градационное нарастание или контрастное разрешение конфликта. Естественно, что это непременно существенные, сквозные мотивы сюжета. Но Кашинский и здесь нередко сжимает текст, поступаясь нарративной симметрией и перекличкой композиционных узлов фабулы ради некоторого напряжения и энергии целого. Так, в басне «О волку з бораном»:

Когда борашик шел за козломъ, встрѣтилъ ево волкъ и спросилъ ево: для чего бы, отставши от матери своей, ходил за дурнымъ козломъ? — *radząc, aby się za się do oycow swey matki wrocił, — tak się domniemawaiąc, że go odwabiwszy łatwie pożyje.* Он ему также отвѣщал: «О, злый волче! Понеже мя мати моя дала ему меня на избережь, лучши бо мнѣ матери своей слушать, нежели тебя, ты бо хочешь словами своими меня отвести, чтобы есмо съел меня» — 39.

Из двух упоминаний вполне предсказуемого волчьего умысла, — сначала как «скрытых» (эксплицируемых лишь повествователем) намерений, а затем и разоблачения их «проницательным» персонажем (ради чего изобретена фабула), — снимается первое, обеспечив тем хоть какой-то нарративный эффект второго.

Снимаются, либо как-то ужимаются, средние члены многофазовых градаций, как, например, в басне «О лекарю с немощным»:

Лекаръ один спрашивал хворова, какъ бы слышався быть здоровымъ? Отвѣщал ему хворы, что велми потъ с него шел. Лекаръ молвил, что то добро.

Другава дня тако же спросил про здоровье, — он ему прогневаучись сказал, *із go gorączka paliła. Rzekł lekarz: «Y to też nie zle».*

В третье спросил, аще бы чаелся на здоровью своемъ, а хворый ему молвил, что «мя утроба мучит». А лекаръ сказал, что то есть вельми добро.

Potym, gdy go przyiaćiel pytał, iakoby się miał, on rzekł: «Bardzo dobrze się mam, ale już umieram».

Вместо этого театрального пуанта оригинала — простой и скорбный финал перевода:

А после хворы умер — 107.

Из экспрессивно броских компонентов рассказа регулярно ужимаются контексты с чужой речью. Их содержание менее сковано логикой сюжета, эмоционально подвижно и нередко включает ассоциативно случайные, «живописующие» мотивы, — но именно эта многоречивость не находит отклика у Кашинского, и перевод оставляет в репликах персонажей только магистральные элементы сюжета. Так, в басне «О жаровах с пахаремъ»:

Наставил мужик сети на жаровы и на гуси, что ему хлѣб в полю портили. А когда поймал жаровы вмѣсте зъ гусми, также с ними и чаплю. *Uchwycony boćian powiedział niewinność swą, iż by nie był żorawiem ani gęsią, ale ptakiem bardzo łaskawym, zwłaszcza nad swymi rodzicy, którym, gdy się starzeją, nie tylko usługuje, ale u żywiciela dawa.*

В переводе Кашинского цапля не доказывает, что она не гусь и не журавль, не нанизывает жалостливых фраз о своем ласковом нраве и своих

заботах о родителях, особенно престарелых, но оспаривает лишь то, в сопричастности чему она обвиняется логикой обстоятельств:

..и чаплю, которая била челом ему, чтобы отпустил,
«понеже я хлѣба не портила».

Меняется и концовка рассказа:

Chłop rzekł: «Wiem ia to dobrze, co powiedasz. Ale iżem cię iął z winnymi na szkodzie, musisz też z nimi społem cierpieć».

Суд скор и по-своему обоснован. Но Кашинский и тут находит более сжатое и, кстати, более напряженное решение, оставив читателя не с формулой юридического вердикта, а с нравственным вопросом:

Отвещал мужик: «Знаю я, что ты хлѣба не портила. Токмо для чево с ними товарищество держала?!» — 47.

Аналогично в басне «О пастырю с овцою», где сценический эпизод оригинала превращается в лаконичный конспект Кашинского:

Жаловалася овца на пастыря, что он от нея много имѣючи молока — не полно ему, токмо еще стригъ ея. Розгневавшись, пастырь вземъ ягня и несь к заколению. Увидевши, овца молила ево: «A coż mi możesz gorszego uczynić?» On rzekł: «A to y ciebie samę zabiwszy psom albo wilkom rzucę». Y umilknęła owca, bojąc się czego gorszego.

И в переводе:

..молила ево, чтобы тово не делал, хотячи быть ему всегда покорною — 65_р.

Эмоциональный диалог в лицах замещается деловой справкой. Но это внешне. Действительный характер ситуации стал острее и драматичнее: в оригинале овца смиряется даже с гибелью ягненка, лишь бы уцелеть самой; в переводе мать смиряется с нелегкой собственной долей, только бы спасти своего детеныша. Что же до угрозы выбросить мясо овцы псам и волкам, то трудно представить возможность подобной бессмыслицы для Кашинского.

Сокращения контекстов с чужой речью значительны по объему, снимая и многословие реплик, и расслабленность повествования. В басне «О лекару с немощным» лексический объем рассказа ужат на 20%, в баснях «О подорожном человеке», «О льву с лисицею» — на 25%, «О жаровах с пахаремъ», «О пастырю с овцою», «О векшѣ с лисицею», «О мухѣ с мурашкою» — на треть, «О волкѣ и о журавлѣ», «О вепрьѣ диком и о ослѣ» — на 40%. Реальные же объемы непереданного текста еще значительнее, поскольку отвергаемый материал в немалом замещался или возмещался необходимыми включениями от переводчика. К примеру, уже упомянутая притча «О вепрьѣ диком и о ослѣ»:

Gdy się głupi osieł z wieprza naśmiewał, on za się gniewno nań zgrzytał: «Atoliś ty, obmierzły, zasłużył karanie, wszakoż na mnie to nie słuźna, a bym ia z tobą miał walczyć, iuż się śmiej, iako chcesz, — twoie to głupstwo czynie cię wolnego».

Когда глупый осел съ вепра насмехался, он на него гнѣвно смотрил и уступил ему, аки глупому, не сопротивляясь ему, либо б было силъ столь, что-бы ему смерть задал — 4.

Сокращения и замещения чужой речи тут захватили три четверти подлежащего переводу текста. В сущности, это уже не перевод, а этнологическая

переработка фабулы, с иными представлениями о личном достоинстве и о предписываемых ими нормах поведения.

Естественно, что не меньшие сокращения претерпевают и внутренние размышления персонажей:

О человеку, бродящемъ через воду. Человекъ, хотячи перебрести реку, которая от дождя великую имѣла воду, искалъ броду, а гдѣ вода была тиха, там хотѣл перейти. Obaczył, iż głęboka, potem doznał, iż tam miałczy było, kędy woda szła większym pędem y szumem, — tedy on sobie pomyślił, iako bezpieczniey się puszczać na szumiącą wodę, niżli na cichą.

У Кашинского пассаж гораздо, почти втрое, короче:

Увидѣвши, что глубока, тамъ пошел, гдѣ быстро шумѣла, начаючи мѣли. И такъ перешоль — 4_р.

Текстуально пространные, композиционно ощутимые сокращения многочисленны. Велика и масса малоприметных, но многообразных купюр, отвечающих повествовательным предпочтениям Кашинского, — прежде всего, высвобождению рассказа от необязательных и, следовательно, ненужных подробностей и пояснений.

Детализация — инструмент описательности. В прозаической басне описаниям и описательности нет ни времени, ни места. Они здесь рудиментарны и спорадичны, проступая лишь сущностными, хотя совсем не обязательно изобразительными подробностями. Но Кашинский и подобные детали сводит на нет, если они не принадлежат конститутивным факторам сюжета. Так, нередко снимаются подробности, хотя и не составляющие источника или причины конфликта, но выступавшие в польском оригинале как более частные, локальные причинно-следственные мотивировки и связки или пояснения фабульных этапов. Теперь же, в переводе, эксплицируемая прежде обусловленность событий сменяется соположенностью или последовательностью их:

О бабѣ з девками. ..А баба, когда уже петуха не было, nie maiąc się po szum zpatіowować, девки всегда о полночи будила — 61;

О псу с месником. Пришовши пес до мясных лавак, gdy się rzeźnik nie obaczył, patrząc swej roboty, украл у мясника коровье сердце — 105.

Аналогичны и грамматические трансформации:

О мысливцу с коропатвою. ..«Отпусти меня нынѣ, а я тебѣ своихъ товарищевъ приведу» (тогда как в оригинале: «Gdyby ty mnie chciał teraz puścić, tedybych ja tobie swych towarzyszek stado przywiodła») — 135.

И вообще цепочки кадров легко освобождаются от обстоятельного антуража:

О сыне господина одного со лвомъ. ..И такъ дѣланию ударил в стену на образ лвовъ и о желѣзны гвоздь, który tam był nie widomy, зашиб себѣ руку, z ktorej rany góra ciekła tak długo, от чево рука усохла — 113.

Из текста перевода убирается то, что подсказывается фоновым опытом читателя и сознается как бы само собою:

О мыши и о пиле железной. ..И розсмеялася пила, молвячи: «Что, глупая, делаешь? Скорей ты собѣ зубы сотрешь, нежели мнѣ досадишь, bo ia żelazo by paytwardsze ścieram», — 28.

Устранения регулярны, последовательны, почти неперменны. Подтверждение тому — идентичность правки в аналогичных контекстах. Так, в басне «О лисице с орломъ»:

..А когда ветръ огонь роздымал, молвила ему (орлу) лисица: «Аще ли можешь, борони своих детей!» Боячися орел, чтобы *iskrami latającemi liska* ему гнезда не сожгла, *które było z rozg suchych u też z mierzwy*, молвить ей: «Прошу твоей милости, не делай тово для моих молодых детей, а я тебѣ отдамъ твои» — 46.

И спустя три десятка листов точно та же операция, с исключением тех же компонентов из текста другой, более драматичной версии сюжета:

О лисице с орломъ. ..А когда вѣтръ роздымал головню, она (лиса) еще сухова дерева прибавливала, так что *iskry, wzgorę leśną*, гнѣздо орлово, *które bardzo suche było*, зажгла — 114.

Тем легче снимаются частные подробности, не составляющие причинно-следственных зависимостей фабульного сцепления, будучи лишь сценическими аксессуарами или ремарками повествователя:

О мыши и о пиле железной. Нашла мышъ на *warsztaćie* пилу железную и учела ея грызть — 28.

О волах с пахорем. Имѣл пахарь вола молодова, к работе *w iarzmie* наравистова — 84.

О отцу с сынами. Хотячи одинъ отецъ несовѣтные сыны, *których kilku miał*, к совету привести, призвал ихъ к себѣ вмѣсто — 40.

Наконец, текст сжимается не прямыми купюрами, а той или иной его переработкой — выделением лишь существеннейшей реалии при отказе от перечисления других, заменой рефлексии поступком, ситуации — ее решением и вообще более кратким пересказом эпизода:

О волку с осломъ. ..А когда волкъ из ноги ево кость вынялъ, он, *zabaczywszy boleści*, ево копытомъ *podkowanym* ударил в зубы такъ, что ему их выбилъ (в оригинале: *tak że mu łep, nos u czoło słukszy*) и самъ убѣжал — 108.

О обезьянѣ с ѡними зверми. Лесный богъ Юпитер.. велел до себѣ собратъ зверемъ и птицамъ (в польском: *każdey żywey rzeczy: ześli się ptacy, przyszły też u zwierzęta*), мѣжи которыми обѣзяна несла дети свое за собою — 64.

О мыши деревенской и градской. ..Грацкая мышъ возгордѣла ее честию, похваляючи градцкой проклад а хулячи деревенскую скудость. *Także wracając się do domu, prosiła wiejskiej do siebie, chcąc rzecz pokazać, co słowem mówiła..*

У Кашинского этот переход к дальнейшим событиям намного лаконичнее: вместо четырехчастной польской фразы — четыре слова:

После пошли до градцкого жилища — 5.

Итак, стремление Кашинского держаться в границах здравого смысла и психологической достоверности не исчерпывалось устранением из перевода

нестаточной игры воображения и повествовательной фантазии. Достоверность рассказа подкрепляется избавлением от необязательного, случайного, от побочных подробностей и фоновых деталей — неизбежного подспорья домысла, но не истины или смысла аллегии.

Однако отказ переводчика от всякой, даже рудиментарной описательности не затрагивал и не снимал сущностных, стянутых в конфликтный узел мотивов и элементов сценического поведения персонажей — детализирующей очерченности решающих, не относимых в подтекст моментов фабульного движения. Напротив, тут Кашинский и сам вносит определенные уточнения, и в этих аспектах перевод подчас конкретнее своего источника. Так, если в польском тексте басни о вороне, пытавшемся похитить барана, кульминация действия означена только как «uwiąznął w wełnie», то в переводе — с обрисовывающей и объясняющей ситуацию деталью: «увяз нагами в шерсть» — 48. Аналогично: *tań wyciągnął* — «из ноги ево кость вынать» — 108; *odeszedł* — «мало от сѣти отшель» — 109; *robiegła* — «побѣгли до целю» — 136; *wiele ślubując* — «много даровъ посулиши» — 2; *izbył sobie* — «токмо для своей прибыли» — 62; *wołom opum.. nie odpuścił* — «волом тым.. не пропустил, но их порезовши съелъ» — 44, — и ряд подобных, во всех случаях выделяющих и определяющих решающие факторы конфликта.

Предметность изложения поддерживается также передачей понятийно ослабленных, семантически расплывчатых лексем оригинала информативно более конкретными и содержательными в переводе. Так, вполне регулярно номинативное раскрытие местоименно-бесплотных единиц польского текста: *aby mu się łódź nie zalała, wszystko z niej zrzucił* — «чтобы ему струга не заливалось, товар с него выкинул» — 112; *nieco cierpi* — «обиду и насмѣшку терпит» — 137; *gdy cię poznają, czymeś iest* — «когда твою ложь и дурость узнает» — 69; *wiele ich* — «много тых людей есть лукавых» — 62; *trzeba by tych obczyaiow poniechać* — «надобно злыя нравы покинуть» — 43; *żaden bogacz nie iest taki, aby tego, co nazbyt ma, ubogiemu udzielił* — «всяки богаты не есть так щодры, чтобы своево богатства убогом уделила» — 32, — и под. Семантика замещающих единиц достаточно красноречива, чтобы судить о их весомости в ткани рассказа даже вне текста целого. И в то же время все замысловатое замещается простым, ухищренное — бесхитростным:

Wilcza posługa w iego niebytności lepsza iest, niżli w obliczności.

Волчья послуга всегда с убытком есть — 14;

On odpowiedział, iżem był iadowity, rzucałem się na każdego, a gdy m nakaranie pańskie niedbał (ktory mi tylko na złodzieia szczekać kazał), potym mnie pan uwiązał, a to mam znak swey iadowitości y niewoli pańskiey.

Отвещал ему пес, что «я был ядовит, бросался на всякого, а когда наказы господскаго не слушал, велел меня на чеп привезать, от чево шерсть на шее оползла» — 43.

С возрастающей автосемантичностью фразы возрастает полновесность и плотность манеры повествования: «*wiem ja to dobrze, co powiedasz*» — «Знаю я, что ты хлѣба не портила» — 47; *naygorszy addawaia* — «пущи осужают и оговаривают» — 102; *wołał nań, aby mu obietnicę, spełnił* — «кликал ево, чтоб к нему пришел на кормъ» — 123; *żądał obietnice* — «хотел девки» — 123; *nie godnaś przepuszczenia* — «достойно смерти» — 141, — и под.

Столь же характерно для Кашинского тяготение к предметному представлению поступков и поведения персонажей: *nie szkodliwie kłaszasz* — «не

до крови кусаешь» — 141; *upuścić* — «сызнова с рук у нево ушла» — 140; *na zdradzie dobrze mówią* — «лукавым своим языком добре молвятъ» — 13; *rzeczy niepewney nikomu pewno nie obiecuy* — «чтоб люди не хвастали тем, чево в руках своих не имеют» — 37_p. Отсюда насыщение перевода бытовой фразеологией, преимущественно метафорического типа: *patowił* — «билъ челомъ» — 2, 39, 46, 69_p, 111; *zaniechał* tego — «не теряем своих напрасно голов!» — 132; *dobroć pierwszego męża zawsze mi wyrzucała* — «добродетель перваго мужа всегда ему (второму супругу) на очи выкидала» — 38_p; *iako ia to szalony na takiego się posarża kuścić* — «а какъ я (баран), глупый, на такова богатыря (быка) поднял руки» — 63_p, и мн. др. Разумеется, фразеологический материал присутствовал и в польском тексте и при образной прозрачности или близости с русским легко калькировался переводчиком, например: *każdy młynarz na swe koło wodę wieździe* — «всяки мелник на своемъ коло воду правитъ» — 82; *twardy kozieł doić*; *trudno wilkiem orać* — «трудно козла доить», также и то, что *nie* *można* *wilkowi opierać* — «нельзя волком орать» — 9; *często pod owczą barwą taig się wilcy drapieżni* — «часто под овечью кожей люты волки бьются» — 51_p; *ślicza woda rada brzegi podrywa* — «тихая вода береги подмываетъ» — 4_p, — и др.

Однако для процедуры перевода не так выразительно калькирование польских пословиц или даже интерполирование русских, сколько замещение польских пословиц русскими: *iako powiedział: lepiej rękawem zasłonic, niżli suknią* > «аки старые люди сказывают: *лутчи утерять ожерелье, нежели целы кованъ*» — 104; *na nowe goście zawsze łaskawszy bywają* > «всегда новое сито на стонкѣ³ висит, а старое бываетъ под лавкою» — 30; *gdzie nie możesz przeskoczyć, tam podleż*, *bo głową muru nie przebijesz* > «гдѣ не можешь перескочить, там подлѣзь, — плетью бо обуха вѣкъ не переломишь» — 77; *z tego też znają po skórze* > «злова человекъ знаютъ по языку, а звѣря — по кожи» — 29_r, — и др. Об эффекте же замещения лучше судить по тексту целого:

О птицахъ. Прилетали на совѣтъ птицы, чтоб болши королѣй межу собою выбрали, разумеючи, что орелъ самъ не может тому сверста яку власть, так велико и много птиц. Молвила имъ ворона, чтобъ то покинули, тую причину даючи, что лудши накормить одново волка, нежели многих (в польском: *łascniej natkać ieden wół, niżli wiele*).

Толкъ: трудно одному служь двум господам служить, а то еще пудши, когда многия господа рассказуют — 44_p.

Тяготение к интенсивно-количественным и обобщающим акцентам — в природе самой басни. В переводе Кашинского такие характеристики обыкновенно нарастают: «*велми угрьло*» — 69, «*велми потъ с него шел*» — 107, «*велми хромаль*» — 108, «*велми заплакала*» — 137, «*велми закричал*» — 140, «*велми досадное*» — 34_r, «*зело кручинился*» — 131, «*зело тяжело*» — 137, «*гораздо плошое*» — 30_p, «*гораздо лутче*» — 30_p, «*много добра имѣючи*» — 42_p, «*кручину великую*» — 26, «*а нынѣ тебѣ дамъ целова вола*» — 33_r, «*никаких обидь другъ друга не терпятъ*» — 98, «*никакими мѣры не могла*» — 81, «*разума ничего не имѣють*» — 99, — и мн. под., экспрессивно и лексически многообразные. Но с той же целью использовалась и обратная процедура, когда непреложность обобщения достигалась не внесением нагнетающих акцентов, а исключением ограничительного, например:

³ Стопка (обл.) — вбитый в стену колышек-вешалка.

Счастиємъ тово набываемъ (в польском: *czasem fortuna da*), чево великою работою даступить не можемъ — 121;

Либо люди не видють, что хто делаетъ, токьмо богъ все видитъ: когда бы то люди знали бы, не согрешали бы (в польском: *mniey by grzeszyli*) — 36.

Вполне обычна замена умеренных акцентов оригинала более интенсивными или напряженными русскими:

Хто недругу или неприятелю своему верить, то в с е г д а (҃асно) погибает — 124.

Аналогично: *karaniem nie małym* — «великим наказанием» — 31_p, *dostatek iedzenia* — «корму много» — 33_p, *mu była winna korzec przenice* — «ему была виновата бочку пшеницы» — 17, *ucho iey ukąsił* — «откусил ей ухо» — 111, — и под.

Менее регулярно интерполирование характерологических оценок персонажей, реалий и ситуаций: «Не мешай доброму коню» — 24, «о, злый волче!» — 39, «услышаль псовъ лютых» — 93, «жену неверную» — 47_p, «страшныя громы» — 27, «сладкихъ ореховъ» — 112, «бѣз милосердія меня расколывають» — 137, «с нево аки з дурака насмехались» — 142, «несли свечю запаленую яраго воску» — 74_p.

Основная же масса характерологических акцентов связана с передачей идеологически ключевых лексем польского оригинала, развернутых переводом в бинарные сочетания из синонимичных или семантически одноплановых русских. В польском тексте подобных пар не более десятка, в переводе Кашинского — свыше сотни. Почти все они привязаны к контексту сентенций, выделяя категории социального, этического и, реже, психологического порядка, и представлены отвлеченными существительными, прилагательными, иногда глаголами:

«советъ и любовь», «несовѣтомъ и несогласиємъ» — 40, 79, «в правде и цноте» — 126, «славы и достоинства» — 27, «к достоинству и чести» — 88, «лести и лукавства» — 139, «измены и хитрости» — 29, «ложь и дурость» — 69, «обиду и насмѣшку» — 137, «уничуждение и посмѣхъ» — 24, «безчашье и убытокъ» — 56_p, «нужу и скудость» — 132, «скудость и нужу» — 65, «пѣчали и нужи» — 11_p, «прибыли и корысти» — 39, «счастиємъ и богатствомъ» — 24, «о денгах и о багадствѣ» — 17_p, «богатства и роскоши» — 33_p, «посулы и подарки» — 69_p, «силою и мочью» — 81, «волность и воля» — 33_p, «смирѣние и покору» — 45, «наказание и смерть» — 3_p;

«добрых и праведныхъ» — 131, «добрых и ласковыхъ» — 12, «доброгo и постоянного» — 22_p, «некрепких и непостоянныхъ» — 93, 12_p, «отмѣнная и ложная» — 66, «лукавъ и хитръ» — 23, «лакомый и завидливый» — 110, «корыстные и пожиточныя» — 71_p, «силному и мочному» — 39_p, «силнымъ и крепкимъ» — 70_p, «великих и высокихъ» — 35_r, «гордым и лукавымъ» — 131, «горду и спесиву» — 24, «бѣдны и нужны человекъ» — 132, «умному и мудрому» — 139, «глупыхъ и неученыхъ» — 112, 59_p, «глупыми и неразсудными» — 12, 32_r, 71_p;

«горьдытца и спесивытца» — 24, 127, «осуждают и оговариваютъ» — 102, «грабятъ и разоряетъ» — 12, «грабят и обидятъ» — 3_p, «кознят и вешаютъ» — 35_r, «кручинилася и плакала» — 114, «прождал и пропивалъ» — 31, — и мн. др.

Интерполированием же организуются элементарные антитезы, экспрессивные повторы и композиционное распределение их, — типа:

«Горе нам, что для так солоткия рѣчи горькия смерть терьпим (giniemy)!» — 21_p;

Много токих есть людей, которые от денегъ зло набытых до злова конца приходятъ — 23_r.

Или в притче о судьбе спесивого коня — начало рассказа:

Коню, обраному под дорогимъ седломъ в златую даро-
гую узду (w pochwy u pastółkę przybranemu),лучилься на дорогѣ осель...

И финал басни:

..И увидель ево после осель, а он драва везет, и молъвил ему: «Увы тебѣ, братѣ, — что за приборъ имѣешь? А гдѣ тое седло вызолоченое? гдѣ узда дорагая от дорогих камней? (a gdzie ono śiodło pozłoczone, або pochwy puklami okowane?) — А нынѣ на тебѣ узда лыч-ная!» — 24.

Но все это — самые нехитрые, ходовые приемы русских книжников. Особенность манеры Кашинского — только в сдержанности их употребления и в ином, рационально взвешенном распределении, выдвинутом и оцущитом лишь в силу лаконизма и сжатости перевода.

4

Итак, судя по регулярным приемам и практическим решениям перевода, Кашинский не задавался строгой и точной передачей своего источника и зачастую не столько следует тексту польского оригинала, сколько исходит из общего течения фабулы или даже из остова самого сюжета. Нет у Кашинского и стремления к особой занимательности рассказа, тем паче — к нарочитой его изукрашенности, «художественности». На пресловутое пристрастие к экспрессивным эффектам, как и к насыщенности деталями, здесь нет и намека. Переводческие предпочтения Кашинского — преимущественно нарративно-логического порядка: обеспечить возможную убедительность иносказания, а в экспрессивном плане — настоятельность и непреложность нравственных оценок, лаконизм и энергию рассказа. И хотя это приметно отличает перевод Кашинского от его польского источника, оно не противоречит природе прозаической басни как жанра.

Однако эстетический предмет прозаической басни — не конкретный социально-исторический и национальный характер — «вот этот», а, скорее, всечеловеческие, лишь персонифицируемые, нравственно-психологические сущности — «такие вот». И здесь-то в переводе Кашинского пробивается иное начало, поскольку сплошь и рядом то, что в оригинале и в традициях жанра выставлялось как извечное и всеобщее, в тексте Кашинского смещается в сторону социального, сословно дифференцируемого и неизбежно исторически конкретного. Тут переводчик не отказывает себе в праве поставить собственное слово. Только является оно не в фабульном повествовании (все так же аллегорически отвлеченном), а в том или ином выводе из басенного рассказа — его сентенции.

Разумеется, сентенции полагается быть лаконичной. Многозначность, столь часто изгоняемая Кашинским из басенного рассказа, в сентенциях вообще нетерпима, сокращения и сжатия текста которых в переводе неоднократны. Например:

Głupia to rzecz, gdy kto w przymierzu nadzieię wszystkę swey pomocy nieprzyjacielowi zada, bo niepewna rzecz, ieśli iuż odłożył nieprzyiaźń, ten któryć był nieprzyjacielem, a gdy cię bez obrony obaczy, naydzie przyczynę iż cię pożywie y zwalczy.

Глупая то речь есть, когда хто в примерью всю надежду своей помочи неприятелю верит, понеже он нат тобою измены и хитрости ищетъ — 29.

И все же в тексте сентенций преобладают интерполяции и особенно замещения, существенно дополняющего или уточняющего, а также модального и акцентного порядка, — словом, завершающие характеристики и оценки, нередко с социально-этической коррекцией, а то и полным изменением толкований польского оригинала.

В простейших случаях — это внесение нравственной оценки там, где оригинал ограничивался житейским или социальным обыкновением. И создается такая оценка как прямыми включениями, так и подстановками от переводчика:

Dawno tak powiadaig, iz to
wszystko utracisz, co dla
niewdzięcznego uczynisz.

Давно притча, что ни будь для лука-
ваго и негодного человека дѣла-
ешь, всю свою добродѣтель напрас-
но утѣряешь, а на конецъ от не-
во же позоръ примешь — 2.

Аналогично:

Всемъ то намъ вестимо, что ложные третия много зла приносят
людемъ (wiele rzeczy bywa przewodzone) — 38;

Много тых людей есть (są niektorzy), что много словом сулят и дают,
толко их дѣлом и руками не вѣршат, — и в том стыда не
имѣють — 116;

Простова а доброва челоувѣка плохо (łaćno) обмануть — 5_p.

Заостряются прежние оценки. В одних случаях настоятельным повто-
рением уже вынесенного заключения, но в иной, более экспансивной, не-
редко идиоматичной форме, — образный тавтологический акцент:

Разумей, кому имѣешь добро дѣлать (się zachować masz), много бо
есть таких людей, которыя за твою добродетель злым тебѣ отдают, —
и хлѣба-соли твоея не помнят — 30;

Всякому делу свое время пристойтъ — когда плачють, тогда
не скачють! — 120.

В других — внесениими интенсифицирующих или обобщающих акцентов
дублетно-синонимичного или местоименного типа:

В бѣдности не прибавляй никому злости, — полно ему и тово, что
и свою скудость и нужу терпит — 65.

В третьих — негативная бытовая оценка трансформируется в своего рода
идеологическое порицание, вплоть до подведения под формулу духовного
отлучения:

Всякий человекъ в том богу хвалу отдавай, что ему господь богъ дал,
не завидующучи иному счастью, понеже то есть речь хулы годная
(jest rzecz głupia) и богу противная — 21.

Нравственное наставление подкрепляется соображениями обосновываю-
щего характера, нередко с нарастанием обобщающе-личных форм адре-
сации:

Хто своимъ приятелям не вѣрит, како неприятелю, которой под
тобою всегда яму копает, имѣет верити? — 135;

Злому человеку не пропускай и за малую вину наказания дѣлай,
чтобы впред пуще не воровалъ — 141;

Что с приречения зло бываетъ, трудно когда бы получшало, — злому
приречению никогда не верь — а не будешь изабижен — 27_r.

Более острые акценты создаются интерполированием и столкновением мотивов полярного порядка — контрастом сущности и личины, эмфазой от противного:

Людский языкъ всегда жалит пуши остраго мѣча, либо слаткия слова молвить — 21_г.

Особой же настоятельности эффект достигается подключением антитез градационно-сопоставительной семантики:

Лакомый и завидливый человекъ для своей корысти и з богомъ хитра поступает, а не токмо с человекомъ, котора всегда обманути хошетъ — 110;

Невѣста — рѣчь отмѣнная и ложная, а так ни в чемъ не треба ей вѣрити, понеже не токмо волка, она бо и людей за частыя обманываетъ своею хитростию — 66.

Иными, далеко не всегда соответствующими оригиналу предстают экспрессивные формы суждений переводчика — модально-психологическая окрашенность его наставлений, аподиктически непреложных, предостерегающих, императивных, энергия и динамизм их. Как и в басенном рассказе, все замысловатое, ухищренное заменяется простым и бесхитростным. Так в сентенции притчи «О мыши деревенской и градской»:

Либо богатство имѣет в себѣ много роскоши, токмо хто хошетъ разсудити, увидитъ, что великия кручины и тяжары терпитъ. Przeto Eutrapeles-filozof, gdy nagorszy nieprzyjaćiołom swoim chciał uczynić, tedy im nadał bogactwa, mówiąc, iż się tak najlepiej pomszczę, bo oni z bogactwem dostaną wielkich ciężkości u prac bardzo trudnych.

В переводе же вместо парадоксального анекдота очевидное и немудреное:

..понеже всякий человекъ против мѣры, живучи на свѣтѣ без кручины, лутшее здравие имѣеть — 5.

Угасающий, размытый метафоризм оттесняется автологией:

Patrz, komu pilno masz służyć: bo wiele panow takich, ktorzy sługom swym nic dobrego nie życzą, owszem radziby ie potrawili.

Смотри, кому имѣешь служити: много бо господь есть такихъ, которые слухамъ своим ничего добра не делаютъ, наипаче всегда их бьютъ и бѣсчестят напрасно — 44.

И напротив, нарастают тропы конкретно-предметного наполнения, преимущественно как формулы национальной идиоматики, с аккумулярованной в них энергией и стихийной образностью народной речи:

Nic nie iest gorszego nad obłudność, bo nie tak straszny nieprzyjaćiel iawnny, iako on, ktory będąc nieprzyiazny, dobrą wolą zmyśla.

Нѣсть ничево на свѣтѣ хуже над лукавство: не так бо есть страшен неприятель видимый, аки человекъ лукавъ и хитръ, которы иное на языку, а иное на сердцу держит — 23.

Mnodzy ludzie wielkie rzeczy obiecuią, gdyż małych nie mogą uczynić.

Многие люди великия сулят дары языкомъ, а малыхъ ничего не даютъ руками — 16_г.

Вместе с тем любая недосказанность поучения, хотя бы и восполняемая отсылкой к басенной ситуации, сменяется исчерпывающим и законченным выводом из этой басни:

Dawa znać, iako długo żona męża
żałuje po śmierci.

Всякая невеста в уме своемъ не-
крепька и непостоянна и ма-
ло что помнить смерти му-
жа своего — 12_р;

Przysłowie panom, którzy na
rzeczy lekkie nakład czynią.

Тая придча примовляет господам, ко-
торые собѣ на малые речи убыток де-
лают собѣ, а на годные къ их
славѣ казны желеють — 41_р.

Всякая двойственность, альтернативная неопределенность снимается в поль-
зу однозначных и непреложных истин:

Którzy swe rzemiosło opuszczają,
na insze się udawają, tacy często
ku upadku przychodzą, a rzadko
wskorają.

Которые свое мастерство от себѣ
откидывают, инова учатся, — такие
всегда до убытку, а не ко-
рысти приходятъ — 108;

Nie tylko na to trzeba mieć
wzgląd, co kto czyni, ale też
którym obyczajem działa, pilno się
przypatrować masz.

Не токмо смотри тово, хто что дѣла-
еть, но такожде коим обычаемъ, —
смотри и разумеи, а во обман не
давайся — 96.

Предполагаемое квалифицируется как действительное и несомненное:

Nawiedzanie nieprzyjacielskie nie
może być bez podejrzenia
złego.

Неприятельское навешание всякое бѣз
хитрости не можетъ быти — 134;

Podarunek od nieprzyjaciela, by
też ze wszech najlepszy, tedy
mądrym człowiekowi nie może
być bez podejrzenia.

Подарокъ от неприятеля либо
наилучши был, токмо умному и муд-
рому человеку не довѣдетца ево
принимати для ради ево лести
и лукавства — 139.

И если обыкновение оборачивалось его оценкой, то обвинение становится
приговором:

Tak on, co złe czyni, y ten, co z
nimi obcuje, — iednako bywają
sądzeni.

Такъ тот, хто крадет, аки и тот, хто
краденое хоронит, заровно виноваты
бываютъ — 47.

Но главное — эту непререкаемую аподиктичность упорно подпитывают
социальные мотивы и обращенность:

Daie tu znać, iż pospolicie ludzie
dla wielkiego dostatku leniwi
bywają, a za tym, co umyślą,
rzadko wykonywają.

Тая притча учит, что люди для великия
роскоши всегда ленивы бывают, кото-
рыя ни сабѣ самим, ни людям ко-
рысти не делают — 101;

W każdym stanie złej fortuny nie
mało najdzie: przeto dobrze
każdemu swego rzemiosła
pilnować.

Всякий человекъ бѣреги своего чину,
хто чимъ есть, а в чюжи чинѣ не
вступайся, — приращение не
дало — 40_р.

Отвлеченно безусловные, «всечеловеческие» ценности переводятся в конк-
ретное сопоставление, а то и поляризацию этих ценностей в условиях
социального контекста:

...nad wszystkie dostatki lepsza wolność.

Всякому человеку, не имѣющему воли своей, да ничто дорогая естѣва и питье, а волю свою держащему — о сухом хлѣбѣ лучше жить, которой никого не опасается — 90.

Сменяются источники, критерии и субъекты морально-этической оценки, которая, по Кашинскому, определяется отнюдь не доводами индивида и даже не очевидностью факта, но социумом:

Gdy kto może co rzeczą pokazać, a co mu po świadectwie?

Когда кого похвалить люди, самъ себѣ никакo похвалы прибавить не можетъ — 100;

Nie bądź głupim, przywłaszczając sobie chwałę z cudzey prace.

Не приписуй собѣ чужие работы и не хвастуй чужою силою: знают люди, что борань, что пехух, кажеде что конь, что муха — 13_p.

И там, где оригинал занят выявлением внутренних, личностных мотивов поступка, Кашинский может вообще не вникать в поведение как таковое, а декларирует лишь неизбежную обоснованность, а потому и непреложность социальной оценки:

Bywa to, iż kto sam bezecny, nie rad nad drugim części zostawi.

Человекъ добрый не называется лукавым, добрая жена — не имѣнется блядью — 115.

Смешается, наконец, сама призма морально-этических оценок: на месте психологического, «всеобщего» является социально обусловленное и характеризующее — сословная солидарность и антипатии:

Gdy ubogi baczy większą drugiego nędzę, tedy mu iego niedostatek miley znościć y przyjmować.

Когда бѣдны и нужны человекъ видит болшую иново, нежели свою, нужу, такоже ему в нужи хочеть пособити, аки и самый собѣ — 132.

Оттеснение психологических категорий этическими, «всечеловеческих» — социальными нередко оказывается столь решительным, что почти никаких следов отражения переводом оригинала в сентенциях подчас не остается. Так было в басне «О лисице со львомъ», — той, где лисица от встречи к встрече все более осваивается с грозным хищником, — в переводе поучения к которой трудно отыскать лексические эквиваленты оригиналу:

Każdemu towarzystwo a pospolitowanie śmiałości przydawa, choćby też najstraszliwszy człowiek był ku potkaniu.

Много есть господ страшных и великих, с которыми убогие люди опасуютца заветовать,⁴ — а так против таких господь держи смирение и покору а латво умякчишь ево сердце — 45.

⁴ В обоих списках — «советовать», что едва ли не конъектура на месте непонятого переписчиком «заветовать» (zawetować — «опротестовать», «отомстить») — возможной передачи польского potkanie — «стычка», «схватка», подобно примерам на с. 140.

Естественно, что в подобном преломлении и переоценках фабульного материала сказалась не только острота проблем русской действительности, но и собственный голос, позиции, а то и судьба симбирского ротмистра:

Nie mamy się tak bardzo w swym mieyscu przyrodzonym kochać, żebyśmy nigdzie nie mieli wychodzić: bo wiele ich, co lepszą fortunę mają w cudzych stronach, niż w domu własnym.

Много таких людей есть, которых дома живучи дураками бьют, а служить не хотят, начаячи, что толко свѣту, что в окнѣ — 1_p.

* * *

Кашинский не был ни профессиональным переводчиком, задавшимся старательной передачей оригинала, ни особенно образованным человеком. И тем не менее Кашинскому не отказать в несомненном литературном даровании. Но стремительность и сжатость его рассказа не обычны ни для русских повествовательных традиций, ни для практики московских переводов. Информативно-безыскусная простота и нарративный лаконизм русской басне не привьются и позже — даже примером Л. Н. Толстого. Так что усилия последующих переписчиков текста Кашинского (наряду со снятием полонизмов и тех или иных искажений русской речи) оказались направлены на придание его рассказу привычной нарративной обстоятельности и «художественной» аранжировки, весьма приметных во втором (и последнем известном) списке этого перевода. Однако для завершения этого процесса не оставалось исторического времени. В судьбы прозаической басни вторгается печатный станок, тиражирующий уже и новые переводы, и с той или иной избирательностью прежние, допетровские, и даже питающий рукописное бытование жанра. Списки с печатных изданий прозаической басни встречаются в XVIII в. много чаще, нежели с рукописных протографов. Но доступ к печатному станку для «художественно» неухищенного и лингвистически неустроенного текста Кашинского был закрыт.